
ДИАЛОГ КУЛЬТУР

С.А. Шульц¹

Ростов-на-Дону

«СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» Э. ХЕМИНГУЭЯ И «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» Л.Н. ТОЛСТОГО²

В рамках компаративистского подхода рассмотрены взаимосвязи между рассказом Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро» и повестью Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Главное внимание обращено прежде всего на построение нарратива, расстановку персонажей, изображение их взаимоотношений и отношений с миром, на художественную философию Хемингуэя и Толстого.

Ключевые слова: Э. Хемингуэй, Л. Толстой, построение нарратива, расстановка персонажей, художественная философия

S.A. SHUL'TS

Rostov-on-Don, independent researcher

E. HEMINGWAY'S "THE SNOWS OF KILIMANJARO" AND L. TOLSTOY'S "DEATH OF IVAN IL'ICH"

Within the framework of the comparative approach, the article focuses on the interrelations between E. Hemingway's short story "The Snows of Kilimanjaro" and the story by L. Tolstoy "Death of Ivan Ilyich". The attention is primarily paid to the structure of narrative, the placement of characters, portraying their mutual relations and their relations with the world, and to Hemingway's and Tolstoy's artistic philosophy.

Keywords: E. Hemingway, L. Tolstoy, structure of narrative, placement of characters, artistic philosophy

¹ Сергей Анагольевич Шульц, независимый исследователь (Ростов-на-Дону)

² Данная статья, представляющая собой переработанный вариант нашей работы: Shult's S. Hemingway and L. Tolstoy (Tolstoy Studies Journal. 2013, Vol. XXV), продолжает серию работ автора, рассматривающих повесть Толстого в компаративистском аспекте: 1) Философия имени и смерти в «Несмертельном Головане» Лескова и «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого // Русская литература. – 2008. – N1; 2) П.П. Пазолини и Л.Н. Толстой («Теорема» и «Смерть Ивана Ильича») // Slavica Tergestina. – 2012. – N 14; 3) В.Г. Распутин и Л.Н. Толстой («Смерть Ивана Ильича» и «Последний срок») // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. – 2015. – №4.

Проводя беглые параллели между рассказом Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро» и повестью Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», Х. МакЛиэн отметил близость двух писателей в плане их «биологизма», под которым понимается «интерес к рождению и смерти» [McLea, 2008, p. 207].

Однако надо отметить существенное различие между наполнением биологизма у Хемингуэя и Толстого. Первый остается в рамках посюстороннего, инстинктивного. Второй переходит к сверхэмпирическим смыслам, к идее «нравственного усилия» (слова из послесловия Толстого к «Крейцеровой сонате»). Толстой и многие его герои стремятся стать «выше мира» [Толстой, 1997, т. 42, с. 208]¹, как сказано о Светлогубе в «Божеском и человеческом», что заменено у Хемингуэя полным доверием земному.

По справедливому замечанию Х. МакЛиэна, «негероическая смерть» в «Снегах Килиманджаро» – это отклик на «Смерть Ивана Ильича», причем итоговые прозрения хемингуэевского Гарри не приводят к «трансценденции» или «искуплению», но вызывают у него «агрессию против его жизни» [McLean H., p. 209-210].

Рассмотрим в рамках компаративистского подхода взаимосвязи между двумя текстами подробнее, обратив внимание прежде всего на построение нарратива, расстановку персонажей, изображение их взаимоотношений и отношений с миром, на художественную философию Толстого и Хемингуэя.

Манера повествования в рассказе Хемингуэя близка толстовской: использована интроспекция, имеет место попытка «считывания» нарратором и автором сознания протагониста, передачи внутренних монологов, в которых воспоминания о прошлом перемежаются с мыслями о предстоящем конце. Повествователь Хемингуэя, подобно толстовскому, знает все о своих героях, но прямо проявляет себя в меньшей степени, словно отказываясь в полной мере делиться своим знанием.

Подобно повествователю Толстого, рассказчик Хемингуэя поддерживает самокритику протагониста, приводящую того лишь к разочарованию в прошлом и настоящем. Тема разочарования, даже бесцельности существования, чем бы оно не было внешне насыщено, – вообще одна из центральных в мире Хемингуэя, за исключением повести «Старик и море».

Если Иван Ильич – судья и светский человек, то Гарри – писатель, т.е. светский человек в квадрате. Кроме того, в связи с писательством Гарри не могут не возникнуть параллели к фигуре

¹ Все ссылки на тексты Толстого даются по этому изданию в основном тексте: [Толстой, 1928-1958]. Далее все ссылки на тексты Толстого даются по этому изданию в основном тексте. Номер тома и страницы указываются в круглых скобках после цитаты.

первичного автора, неким «двойником» которого неизбежно, так или иначе, выступает Гарри. Тем самым вскрывается определенная близость образа Гарри самой личности Хемингуэя. Иван Ильич для Толстого не столь буквально близкий образ, однако автор передоверяет ему собственные страхи и надежды, моменты собственной исповеди и проповеди.

Статус судьи придает фигуре Ивана Ильича значительный элемент «официозности», подлежащей, по мысли, автора, финальному снятию. Так намечается переход от осуждения других к суду над самим собой, но уже надъюридическому, высшему, способному выступить дериватом Страшного суда.

Иван Ильич подан вначале подается как «человек вообще» (в нивелирующем значении) и «средним человеком», старающимся подделываться под усредненное общественное мнение. Постепенно раскрывается уникальная масштабность микрокосма толстовского героя, перекрывающая самый макрокосм.

Статус писателя в XX веке подразумевает обязательный налет легкой «богемности» и вместе с тем тонкости Гарри, не приводящих, однако, к противопоставлению его остальным. Гарри – один из всех, такой же, как все. Он сам так понимает себя, ища общения с самыми разными людьми. Установка умирающего протагониста, автора и повествователя «Снегов Килиманджаро» – в главном диалогическая.

Хрестоматийно известна бахтинская идея о толстовском «монологизме»¹. Но так ли уж «монологичен» Толстой и его герои? Иван Ильич, подобно Гарри, также большую часть жизни старался жить «как все», по шаблонам. Открытие Иваном Ильичом фальши человеческих отношений приводит к высокому молчаливому вызову окружающим, к обретению «истины» вне человеческого и мирового в целом, к индивидуалистическому персонализму.

Иван Ильич был индивидуалистом уже тогда, когда мыслил себя в рамках светских шаблонов, поскольку такие шаблоны дают ложное чувство общности. Следование стереотипам совсем не отменяет самоутверждения.

Однако Иван Ильич остался индивидуалистом и когда умирал и умер, так как он резко противопоставил себя окружающим. Финальный индивидуализм высок: герой постигает новые, «подлинные» смыслы.

Умирающий толстовский герой готов к интерсубъективности (термин Э. Гуссерля), к «диалогу» – но не извне, а изнутри своего индивидуалистического персонализма. В подобном движении к другому – действительно диалогическая установка.

¹ Ср., например: [Тамарченко, 1985]. В название статьи Н.Д. Тамарченко вынесено понятие романа, но повести (и пьесы) Толстого – романизированные, поэтому данное понятие так или иначе охватывает все наследие писателя.

В финале Иван Ильич через открытие «истины» о жизни и смерти, о себе, возвышается над остальными героями, в том числе в аспекте преодоления протагонистом бывшего «одержания» (Бахтин) ими, когда он подстраивался под них.

Толстой и его герой постепенно выходят на уровень универсальных и общих онтологическо-антропологических инвектив, в результате чего Иван Ильич становится символом «человека вообще», но уже в высоком значении, не как в начале произведения. Название повести Толстого, первоначально вызывавшее у читателя мысли о чем-то сугубо частном, к финалу, сохраняя идею частного, символизирует максимально общее.

«Человек вообще», «каждый человек» отсылают к средневековым мистериям, от которых тянется прямая нить к драматургии Толстого [Шульц, 2002]. Символизация фигуры протагониста¹, как и, в меньшей мере, его окружения сдвигает жанр произведения в сторону условной притчи.

Притчевость «Смерти Ивана Ильича» открывается по мере погружения в контекст позднего творчества Толстого в целом. Самое конкретное, дробное, детализированное предстает у позднего Толстого также и самым условным в средневековом значении, в том числе в том, в котором представители средневекового философского реализма приписывали реальное существование отвлеченным понятиям.

Любое высокое произведение искусства, безусловно, выходит на уровень обобщающих универсалий, и «Снега Килиманджаро» также. Однако Хемингуэя, как и Толстого, больше интересует сугубо личное и лично-социальное – на фоне общего для них неизменного внимания к общему потоку жизни.

Чаще всего Хемингуэй в своем творчестве фиксирует зазор между индивидуальным существованием («экзистенцией») и общим потоком жизни, что приводит к фиксации определенной пустоты «экзистенции»². Что бы ни происходило в хэмингуэевском мире с «отдельным существованием», оно чаще всего ощущает нехватку и пустоту. Для Гарри выходом из подобной пустоты становится собственная смерть.

¹ Символичность образа Ивана Ильича – но не столь принципиально и с нарочитым сужающим акцентом на его «реалистичности» – отмечена также в работе: [Зверев, 2006].

² Из работ, сближающих Хемингуэя и экзистенциализм, см., например: Lehan R. French and American Philosophical and Literary Existentialism: A Selected Check List // Wisconsin Studies in Contemporary Literature, 1960 (Autumn), Vol. 1. №3, Existentialism in the '50s, pp. 74-88; Dwight Eddins. Of Rocks and Marlin: The Existentialist Agon in Camus's «The Myth of Sisyphus» and Hemingway's «The Old Man and the Sea» // The Hemingway Review, Volume 21, Number 1, Fall 2001, pp. 68-77.

Если Иван Ильич во время своего умирания видит окружающий мир, в том числе мир людей и предметов, в качестве практически фантомного, за исключением вызванных данным миром редких позитивных эмоций, по преимуществу детских, то Гарри, всегда абсолютно «реально» воспринимая внешний мир, окрашивает свою перцепцию подчеркнутым субъективно-эмоциональным светом приятя. В результате «предметное» в хемингуэвской художественной реальности «оживает» в качестве с таким-то и таким-то чувством коннотированного.

Здесь налицо переключки между феноменологией Гуссерля и художественной философией Толстого и Хемингуэя¹. Гуссерль поставил вопрос об интенциональных актах сознания (т.е. восприятию предметности) вне зависимости от вопроса о бытийном статусе окружающего мира, т.е. подчеркнуто вне вопроса о том, «реален» мир или нет. Толстой делает акцент на проблеме сознания и в какой-то степени на «ирреальности» сущего (так – в «Смерти Ивана Ильича», так в определенной мере будет у Гуссерля – вплоть до момента его перехода к идее «жизненного мира» [Хабермас, 2008]). Хемингуэй описывает акты перцепции, не сомневаясь, однако, в существовании «действительности».

Субъективная окраска восприятия мира и вещей у Гарри оставляет, впрочем, свободу «самим вещам» (Гуссерль), бытийствующим объективно и предстающим в том числе независимыми от стороннего взгляда: как бы их ни воспринимали, они все равно имеют значение также сами по себе. Хемингуэвские «сами вещи» – это своеобразный аналог толстовской «общей жизни», идея которой несколько приглушается у Толстого по мере перехода на позиции индивидуалистического персонализма.

В таком доверии Толстого к жизни заметна его близость «философии жизни» в целом и Дильтею в особенности [Бибихин, 2012], а также М. Хайдеггеру. Последний, по сравнению с индивидуальным существованием, выше ставил «чистое», общее бытие. К идее примата общей жизни над «экзистенцией» приходит Толстой, оставаясь все же над собственной тенденцией – индивидуалистическим персоналистом.

У Толстого и у Хемингуэя жизнь – это также некая «судьба», в ней присутствует момент заданности, отчасти предрешенности, с которой, надо бороться.

Во всем этом у обоих авторов проявляется склонность к символизации воспринимаемых субъектом вещных образов: те воплощают саму ткань, материал, но и идею существования,

¹ Ср. попытку феноменологического прочтения творчества Толстого (и анализ Хемингуэя) в соответствующих разделах работы: [Казаков, 2012].

оценивающегося как благо само по себе. У позднего Толстого идея бытия=блага словно отступает перед мыслью о позитивности смерти, не противопоставляемой Толстым бытию, а осознаваемой частью этого бытия.

Субъективно и одновременно «символически» – через соотнесение с «общей жизнью» – представлено видение героем Хемингуэя природы. Это первобытная пышная природа Африки, по отношению к которой он испытывает чувство глубокой близости, тяги, что делает его своего рода «естественным» человеком.

С дворянина Ивана Ильича такой налет естественности полностью снят, но о ней призван напомнить образ Герасима: «Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный» (26, с. 96); «Ему (Ивану Ильичу – С.Ш.) хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплусь еще»; или когда он вдруг, переходя на ты, прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

– Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?» (26, с. 98).

В приведенных цитатах акцентированы и мужицкое происхождение Герасима в его антиномии городу («на городских харчах» – сказано с восхищением силой Герасима и с долей сожаления об одном уже факте его теперешнего городского житья), и то, что он один «не лгал», понимая неизбежность смерти для каждого. Здесь отчетливо видны все черты «естественности» в духе Руссо – и будущего Хайдеггера, также боровшегося с «культурой».

Сходно в двух рассматриваемых произведениях описание причины смертельной болезни героев. Эта причина случайна: ушиб для Ивана Ильича, легкая царапина для Гарри. Идея такой случайности оказывается философична, указывая на «неисповедимость» судеб. Случайность указывает также на принципиальную роль самого незначительного и мелкого для самых крупных событий – излюбленная мысль Толстого. Кроме того, случайность, сцепление случайностей не противоречат идее определенного провиденциализма, дань которой Толстой и Хемингуэй так или иначе заплатили: с одной стороны, все заведомо известно (хотя бы смерть), с другой, все происходит согласно внутренней свободе, все возможно. Примерно так формулировал подобное соотношение Блаженный Августин, ценимый Толстым [Августин, 2002]¹.

¹ Ср.: [Полосина, 2005]. 2006].

А.А. Донсков обратил внимание на роль такой детали художественного мира «Смерти Ивана Ильича», как гардина, «на» которой, считает Иван Ильич, он потерял жизнь (26, с. 95): в словаре Даля гардина – это занавес [Донсков, 1993, с. 151]. Тем самым вскрывается «театральный», в ложном смысле игровой «код» жизни толстовского протагониста. Эту театральность отмечает в своем существовании и Гарри [Тарасов, 2003].

Подобно Ивану Ильичу, Гарри много рассуждает о лжи своей прошлой жизни, в том числе лжи отношений с Эллен. Последняя названа по имени лишь в финале, до этого она упоминается просто как «женщина», что подчеркивает последовательный биологизм Хемингуэя, то, что она для героя – только проявление определенного видового начала (плотского), нужного ему, а не отдельная самостоятельная личность.

Имя «Эллен» у Хемингуэя – возникает непосредственно под влиянием романа «Война и мир», где носительница этого имени репрезентирует «биологизм», представляя в сугубо отрицательной роли светской львицы и воплощения плотского восприятия жизни. Не здесь ли истоки отрицательных оценок Эллен Гарри и отчасти хемингуэевского повествователя?

«Ложь» для Гарри, повествователя и автора – это не столько экзистенциальное состояние мира, всего внутримирового (как для Толстого), сколько *эмпирическая психология, внешняя форма* взаимоотношений «я» с «другими». Именно в связи с темой лжи взаимоотношений возникает и у Хемингуэя топика театральности, так или иначе соотношенная с фальшивой игрой.

В рефлексии Гарри по поводу фальши претензии в большей степени относятся к себе, чем к Эллен или к миру в целом, предстающим у Хемингуэя «прекрасным, как всегда» (Блок). На пороге ухода герой окрашивает свое восприятие внешнего особым прощальным приятием.

То, что у Хемингуэя названо ссорами между Гарри и Эллен, объективно выдает скорее стремление преодолеть взаимоотноуждение. Важен самый факт попытки разговора.

На протяжении небольшого рассказа Гарри проходит сложную нелинейную трансформацию восприятия собственного умирания. Он попеременно испытывает страх, любопытство, безразличие, он видит ложь и в жизни, и в смерти: «Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней» [Хемингуэй, 1992, с. 516]. Хемингуэевский герой считает, что ничего не оставит после себя, в этом видна слишком высокая со стороны Гарри оценка жизни. Однако налицо смутное понимание Гарри открываемого смертью иного пути, более «истинного». В финале Гарри на свой лад ощутит движение в этом направлении.

Иван Ильич также первоначально цепляется за жизнь, ценя лишь свое чисто внешнее наличие в ней – но никак не внутреннее наполнение этого наличия. Только самый акт умирания, точнее, акт смерти открывает для Ивана Ильича его бытийствование. Чтобы ожить, Ивану Ильичу понадобилось умереть.

Несмотря на искренние уверения Эллен, Гарри знает, что скоро умрет. Однако интуиция Гарри оказывается сильнее уверений и предчувствий Эллен, хотя он и пытается им в какой-то мере следовать. В подобном следовании нет никакой слабости. Это момент эмпирически-бытового, совсем не осуждаемого Хемингуэем. У Ивана Ильича надежда избежать смерть – пасование, слабость.

В описании смерти Гарри Хемингуэй, как и Толстой, совмещает внутреннее и стороннее восприятие. Сам Гарри ощущает: «<... и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, невысказанно белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь» [там же, с. 532].

В приведенной цитате противопоставлены «весь мир» и природа, так, будто природа не является частью этого мира. Однако для Гарри подобная оппозиция закономерна.

Жизнь «всего мира» как мира людей и вещей связана по преимуществу с «фальшью», а жизнь всей природы, символизируемой «снегами Килиманджаро», ведет героя *особым путем* (поначалу Гарри себя видел лишенным его) – «ввысь», в особый хронотоп естественности и первобытности. В этом плане Гарри ближе, например, пытающемуся слиться с природой Кавказа Оленину из повести «Казачьи» и вообще толстовским «людям природы», чем Ивану Ильичу. Путь «ввысь» – к слиянию с природой.

Образ «невысказанно белой под солнцем вершины» перекликается с образом «света» (26, с. 113), увиденного толстовским героем, и также означает преодоление смерти, но для Гарри оно не вполне сверхэмпирическое, а больше природно-естественное. То, что в название рассказа Хемингуэй вынес центральный образ предсмертных видений Гарри, его предсмертной надежды, свидетельствует о приятии автором идей «естественности» и «первобытности»; эти идеи – главное в рассказе.

Оценка кончины писателя со стороны Эллен подана почти внешним способом, практически без прямой передачи ее эмоций, однако описание нарратора содержит намек на них: «Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

– Моло, – позвала она, – Моло, Моло! – Потом крикнула: – Гарри, Гарри! – Потом громче: – Гарри! Ради Бога, Гарри!

Ответа не было, и она не слышала его дыхания. За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их» [Там же].

Психологизм Хемингуэя, конечно, отличается от передачи внутреннего мира в текстах XIX в.: автор «Снегов Килиманджаро» в большей степени стремится выразить внутреннее через внешнее, через деталь, через плотную и тактильно ощутимую предметность («сетка от москитов», «койка», «карманный фонарик» и т.д.) Этот подход был намечен и Толстым с крайней детальностью его изображений. Толстой оказывается ближе даже не психологизму в узком значении, а «пневмологизму» (термин Н. Бердяева и Г. Зедльмайра), т.е. вниманию к чисто духовной стороне личности, к фактам сознания¹. Для Толстого совершающееся в душе отдельного человека, если тот сознает себя и жизнь должно, равно потрясению, произошедшему во внешней реальности, тождественно преображению мира. Прочитируем «Божеское и человеческое»: «И он (умирающий раскольник. – С.Ш.) чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близости к смерти душе его» (42, с. 224).

Иван Ильич, видящий себя в финале по-другому, по-иному («истинно») видит и свой внешний мир. Внутреннее потрясение Гарри при переходе от жизни к смерти не меняет мир, а меняет только героя.

Создается впечатление, что Гарри излишне требователен к себе иногда таковы мысли о его якобы корысти в отношениях с женщинами или, например, о том, что он больше собирался писать, чем писал, о том, что он загубил свой талант, изменил себе.

Однако Эллен, обвиняемая Гарри в том, что именно та «довела» его, на свой лад искренне любит Гарри и оценивает его иначе, чем он сам себя. Эллен наделена искренностью чувств и отношений, правда, она не видит в Гарри то, что тот сам видит в себе: сложность, излишнюю рефлексивность, двусмысленность... В случае Ивана Ильича ощущения такой излишней самокритичности героя не возникает.

Из-за «непонимания» со стороны Эллен Гарри относится к ней во многом негативно, хотя и не артикулирует это до конца, что может быть понято в виде элемента все той же «лжи», хотя не столь глобализируемой Хемингуэем и отчасти преодолеваемой в рассказе через попытки героев расслышать друг друга.

¹ Узкодушевная сторона личности – предмет иронии и «разоблачения» со стороны Толстого (ср., например, описание реакций окружающих на кончину Ивана Ильича, изображение судейских в «Воскресении»).

У Эллен есть одно важное преимущество: она любит Гарри. Влюбленный взгляд наделяет даром, привилегией понимания, поэтому для полноты оценки художественного мира «Снегов Килиманджаро» необходимо учитывать идеализирующую оценку протагониста со стороны Эллен. Последнее вновь подчеркнет отсутствие ясности самосознания разочарованного прожитой жизнью протагониста, отсутствие полноты его самопонимания.

Согласно теории диалога Бахтина, эту полноту может дать для «я» только «другой». В толстовской повести такими «другими» являются по преимуществу повествователь и образ автора в качестве экзистенциально-эстетической данности-заданности. У Хемингуэя – Эллен, а также повествователь и создающийся в тексте «образ автора».

С точки зрения бахтинской теории диалога, Эллен словно «дарит» Гарри признание, т.е. помогает ему обрести его «я». Однако Гарри то ли не замечает «дара», то ли отказывается принимать его. Условия диалога соблюдены, но диалог почти не реализован. Толстовский художественный опыт преломлен в новелле Хемингуэя через идею поиска реального диалога с другими в реальном мире, к реализации которой хемингуэевский герой оказывается неготовым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Августин Блаженный. О граде Божием / Блаженный Августин. – Минск; Москва, 2000. – 1296 с. – (Классическая философская мысль).

Бибихин, В.В. Дневники Л. Толстого / В.В. Бибихин. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. – 480 с.

Донсков, А.А. «Драматическое присутствие» в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» // Русская литература. – 1993. – №3. – С.149-154.

Зверев, А.М. Лев Толстой / А.М. Зверев, В.А. Туниманов. – Москва: Молодая гвардия, 2006. – 816 с.

Казаков А.А. Ценностная архитектоника произведений Ф.М. Достоевского: дис. ... д-ра филол. наук / А.А. Казаков. – Томск, 2012.

Полосина, А. Л.Н. Толстой и Августин Аврелий о памяти, времени и пространстве / А. Полосина // Л. Толстой и мировая культура. Материалы Межд. Научной конференции. – Тула: «Ясная Поляна», 2005. – С.65-76.

Тарасов, Б.Н. Жизнь. Игра. Смерть. (анализ сознания представителя «среднего класса» в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича») / Б.Н. Тарасов // Литература в школе. – 2003. – №10. – С. 2-7.

Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. / Л.Н. Толстой. – Москва, 1928-1958.

Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. М.М. Беляева и др. 2-е изд. / Ю. Хабермас. – Москва, 2008. – 416 с.

Хемингуэй, Э. Снега Килиманджаро / пер. Н. Волжиной / Э. Хемингуэй // Искусство и художник в зарубежной новелле XX века. – Санкт-Петербург, 1992. – С.509-532.

Шульц, С.А. Историческая поэтика драматургии Л.Н. Толстого (герменевтический аспект) / С.А. Шульц. – Ростов-на-Дону, 2002. – 238 с.

McLean, Hugh. In Quest of Tolstoy / H. McLean. – Boston: Academic Studies Press, 2008. – 252 pp.

REFERENCES:

Avgustin Blazhennyj. O grade Bozhiem / Blazhennyj Avgustin. – Minsk; Moskva, 2000. – 1296 s. – (Klassicheskaya filosofskaya mysl').

Bibihin, V.V. Dnevnik L. Tolstogo / V.V. Bibihin. – Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Ivana Limbaha, 2012. – 480 s.

Donskov, A.A. «Dramaticheskoe prisutstvie» v povesti L.N. Tolstogo «Smert' Ivana Il'icha» // Russkaya literatura. – 1993. – N3. – S.149-154.

Zverev, A.M. Lev Tolstoj / A.M. Zverev, V.A. Tunimanov. – Moskva: Molodaya gvardiya, 2006. – 816 s.

Kazakov, A.A. Cennostnaya arhitektonika proizvedenij F.M. Dostoevskogo: dis. ... d-ra filol. nauk / A.A. Kazakov. – Tomsk, 2012.

Polosina, A. L.N. Tolstoj i Avgustin Avrelij o pamyati, vremeni i prostranstve / A. Polosina // L. Tolstoj i mirovaya kul'tura. Materialy Mezhd. Nauchnoj konferencii. – Tula: «Yasnaya Polyana», 2005. – S.65-76.

Tarasov, B.N. ZHizn'. Igra. Smert'. (analiz soznaniya predstavatelya «srednego klassa» v povesti L.N. Tolstogo «Smert' Ivana Il'icha») / B.N. Tarasov // Literatura v shkole. – 2003. – N10. – S. 2-7.

Tolstoj, L.N. Polnoe sobranie sochinenij: v 90 t. / L.N. Tolstoj. – Moskva, 1928-1958.

Habermas, YU. Filosofskij diskurs o moderne / Per. M.M. Belyaeva i dr. 2-e izd. / YU. Habermas. – Moskva, 2008. – 416 s.

Hemingueh, EH. Снега Килиманджаро / пер. Н. Волжиной / EH. Hemingueh // Искусство и художник в зарубежной новелле XX века. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 509-532.

SHul'c, S.A. Istoricheskaya poehtika dramaturgii L.N. Tolstogo (germenevticheskij aspekt) / S.A. SHul'c. – Ростов-на-Дону, 2002. – 238 с.

McLean, Hugh. In Quest of Tolstoy / H. McLean. – Boston: Academic Studies Press, 2008. – 252 pp.